

Александр Вергелис

В поисках бедного Йорика

Рассказ

Не помню, как пришла мне в голову эта идея. Скорее всего, она туда вовсе не приходила, а пребывала там всегда. Да, пожалуй, где-то глубоко внутри я давно готовился к этому преступлению — может быть, всю свою бесконечно длинную пятнадцатилетнюю жизнь.

В этом возрасте хочется выказывать удаль и молодечество. Я с упоением слушал рассказы о подвигах. Рассказчиков было много: один выкрад классный журнал из учительской и скжег его на пустыре, другой парализовал канализационную систему при помощи пачки дрождей, третий испепелил кабинет литературы, четвертый — правда, не из нашей школы — имел взрослую связь с учительницей английского.

Не только лихие дела современников, но и славные деяния предков волновали мое воображение. Согласно семейным преданиям, мой дед, получавший среднее образование еще при царском режиме, однажды в отрочестве совершил нечто, граничившее со святотатством. Прогуливая на пару с приятелем урок Закона Божия, он напустил в классную комнату дыма — для этого были использованы вставленная в рот мундштуком наружу папироса и вентиляционное отверстие. Пока священник живописал геенну огненную, за его спиной в помещение медленно вползал и растекался по потолку опаловый джинн. Принюхавшись и возопив громким голосом, лицо духовного звания подобрало полы рясы и выбежало в коридор, но хулиганы уже успели удрать. Не знаю, как расценивать эту проделку — как обычное школьарское озорство или как демарш подрастающих атеистов. Пожалуй, тут было и то, и другое. Но главное, была в этой выходке дерзость — качество, которого на излете моего отрочества я почти лишился.

Прежде я был другим. Я искал приключений и водил дружбу с отъявленными негодяями.

— У тебя нет ни одного приличного приятеля, — сокрушалась мама. — Одна сплошная шушера!

Вергелис Александр Петрович родился в Ленинграде в 1977 году. Публиковался как поэт, прозаик и критик в журналах «Аврора», «Волга», «Нева», «Звезда», «Знамя», «Дружба народов» и других. Лауреат нескольких литературных премий. Автор книги стихов «В эпизодах» (2010). Живет в Санкт-Петербурге.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2019, № 1.

В сущности, она была права. Днем мы изводили учителей, а по вечерам терроризировали город. Не было дня, чтобы мы не злоумышляли против общественного порядка. Пылали мусорные баки и почтовые ящики, взрывались бутылки с сухим льдом, вечерние прохожие расстреливались из рогаток. Но на четырнадцатом году жизни что-то вдруг переключилось в моей голове. Вероятно, причиной тому послужило мое пристрастие к чтению — в свободные от разбоя часы я зарывался в книги. И вот, ощутив тоску по гармонии с окружающим миром в лице школьной администрации и органов правопорядка, я в одночасье стал удивительно кроток и миролюбив, я сделался неслыханно прилежен и погрузился, наконец, в учебный процесс. У меня даже изменился почерк — он приобрел невиданную прежде ровность и четкость, — как и открывавшийся передо мной жизненный путь.

Тяготея к гуманитарным наукам, я определился в специализированный класс с соответствующим контингентом, по преимуществу девичьим. Вся наша гоп-компания к тому времени рассеялась в пространстве: один уехал, другой отбыл в исправительное учреждение, третий стал учащимся ПТУ на окраине города. В новой среде мне захотелось казаться благонравным и благовоспитанным. Сладковатая водичка смирения и непротивленчества тихо потекла в моих жилах вместо крови. Я перерождался. И все-таки что-то прежнее, уличное, еще шевелилось во мне, что-то взбулькивало и всклокатывало внутри. Я не особенно тосковал по себе прежнему, но испытывал некоторое беспокойство от того, что мое школьное существование стало слишком уж тусклым и бессодержательным. Меня беспокоила мысль, что лучшая пора жизни проходит бездарно, что во взрослуую жизнь я войду со стерильной репутацией крепкого хорошиста и ничего не смогу предъявить современникам и потомкам. Но главное — мне нечего будет передать тому ироничному и томному господину в шлафроке, вальяжно расположившемуся в теплом сумраке кабинета в кресле у зеленой лампы, каковым я, по моим представлениям, должен стать лет десять или двадцать спустя. Необходимо было сотворить будущие воспоминания — чтобы этот господин мог, щурясь, со снисходительной улыбкой и не без удовольствия перебирать в памяти невинные проказы того пубертатного шалуна, которым он был когда-то, задолго до появления шлафрока и кабинета.

Нет, жечь классные журналы и топить школу в испражнениях было бы не в его вкусе. Звание гуманитария обязывало, требовалось что-то поизящнее. Пока же единственной моей шалостью было сочинение невинных эпиграмм и рисование столь же невинных карикатур на учителей. В этом возрасте хочется быть остроумным, смелым и независимым. И если не получается быть, — то хотя бы выглядеть.

Я не помню, как пришла мне в голову эта идея — украсть череп из кабинета биологии. Помню лишь, что в ту же самую секунду, как в моем собственном черепе красной лампочкой вспыхнула эта мысль, я уже знал, как будет называться предстоящая операция.

Операция «Бедный Йорик» была проведена молниеносно. Понимая, что мне понадобится сообщник и, что немаловажно, свидетель, я посвятил в свои преступные планы одного из нескольких недорослей, составлявших скромную мужскую часть нашего класса. Имя его я и по прошествии стольких лет не решаюсь предать огласке, скажу лишь, что выбор мой пал на него не случайно: гуманитарная подкладка в этом славном юноше сочеталась со здоровым авантюризмом, что и определило всю его последующую судьбу, в которой были и война, и тюрьма, и еще много чего, вполне достойного пера романиста. На перемене, когда кабинет опустел, он постоял «на

шухере», а я открыл дверцу шкафа и переместил мертвую голову в «бэг» — так тогда почему-то все называли школьные рюкзаки.

Почему именно череп? Наверное, это было в духе того макабрического юмора, который по моим тогдашним представлениям должен был отличать юного бонвивана и остроумца, каковым мне хотелось себя видеть. Это было сродни табачной обструкции, устроенной моим прапапуром служителю церкви. И все-таки истинная причина моего выбора лежала гораздо глубже. Вид человеческого черепа всегда вызывал у меня тайный трепет. В детстве я завороженно смотрел на устрашающие таблички «Не влезай — убьёт!», с которых озорно улыбалась во весь рот пронзенная молнией мертвая голова. Сколько себя помню, я вечно совал взрослым бумагу и карандаш, прося изобразить человеческий скелет. У неплохо рисовавшего отца скелеты почему-то выходили всегда какими-то карикатурными, с гипертрофированными глазницами и крохотными челюстями — возможно, родитель просто не хотел меня пугать. Большие надежды я возлагал на дядю, врача-венеролога, но у него человечьи кости получались какими-то совсем не страшными — выглядели они толстыми увальнями, представлявшими собой явный анатомический курьез, столь неожиданный для профессионального медика. Я тосковал. Я с тайным восхищением глазел на украшенную черепушкой фуражку Штирлица, я мучительно завидовал киношным пиратам — не столько их развеселому образу жизни, сколько тому, что над их забубенными головами реял «Весёлый Роджер». Позже, уже после того, как книги победили во мне уличного пакостника, мне грезился фаустовский кабинет с песочными часами, раскрытым манускриптом и непременным черепом на столе.

И вот, однажды я увидел его, вытащенного кем-то из шкафа под гвалт и визг учащейся сволочи. В эту секунду я вдруг оглох, ощущив тайный восторг долгожданной встречи.

Как и большинство прочих ветхих учебных пособий, наполнявших кабинет биологии, он был на сто процентов настоящий, если не считать две медные проволочки, на которых держалась нижняя челюсть. На переменах, пока никто не видел, я извлекал его из старого, еще довоенного шкафа, где он покоялся на груде истертых костей в обществе скелета кошки, облезлого чучела макаки и гипсовой головы питекантропа. Я ставил его на парту, садился напротив и подолгу смотрел в похожие на лунные кратеры глазницы, предаваясь сентиментальным размышлениям. Когда-то, думал я, в этой удивительной чаше покоился мозг, плескались юные мечты, рождались помыслы и устремления. Когда-то эту пожелтевшую кость облекала мягкая розовая плоть, в этих глазницах светились пытливые зрачки, поверх этих неплохо сохранившихся зубов двигались губы, шептавшие слова любви или, быть может, изрыгавшие проклятия этому миру. Кем был ты, обладатель этого черепа? Простым смертным, посредственностью, обывателем? Или — непризнанным гением, непонятым мудрецом? Бывал ли ты счастлив или только и делал, что сгибался под ударами судьбы? Бунтовал ли ты против существующего миропорядка или со смирением принимал долю свою? Насколько осмысленно прожил подаренную тебе жизнь, какими путями попала твоя голова в школьный шкаф? Добровольно ли вызвался ты служить делу просвещения или же твой навеки остывший котелок бесстрастной рукой патологоанатома был исхищен из мертвца? Если верно последнее, то я спасу тебя от позора, твой череп больше не будет служить забавой для недоучек.

Думая так, я косился на свое отражение в зеркале, не без содрогания представляя, что внутри моей собственной головы тоже заключен костяной лик смерти, и когда-нибудь он освободится от лишних покровов и будет во весь рот

улыбаться обступающей его со всех сторон тьме... Но в силу нежного возраста размышления в духе *memento mori* не имели той длительности, которая необходима для глубокого погружения в тему. В сущности, в пятнадцать лет мы все еще бессмертны.

Итак, я сделал это. Я сделал это, и в первое время испытывал нечто вроде «морального удовлетворения» — задуманное совершилось, теперь у меня был свой собственный, домашний череп. И все же, в полной мере насладиться содеянным как-то не удавалось: к гордости за проявленную удачу и сладости тайного обладания вожделенной костью примешивалось чувство стыда за совершенную кражу. К тому времени я уже отвык от роли похитителя, так легко дававшейся мне в былые дни. Последний раз в этом качестве я был тремя годами раньше, когда брал с лотка «Дома книги» очередное научно-популярное издание. Да, именно брал — криминальное мастерство заключалось в том, чтобы со спокойным, немного даже рассеянным видом, с минуту потоптавшись возле атакуемого книголюбами прилавка, неторопливо направиться к выходу с понравившейся книгой в руках. Можно было и не к выходу — можно было достоверности ради еще немного пошататься по заполненному народом залу бывшего зингеровского офиса, глазея на книжные полки с блаженным видом малахольного книгоочея. У кого могло бы возникнуть подозрение в отношении этого блуждающего чудика? Кто бы мог подумать, что книга, которую он листает на ходу, беззвучно шевеля губами, только что им украдена? Ни разу я не был пойман за руку, никогда не кричали мне вслед: «Мальчик, верни книгу на место!» Вечная толкотня вокруг вчерашних запретных плодов, вынесенных на прилавки волнами Перестройки, отсутствие привычных ныне видеокамер, электронных рамок и дежурящих повсюду Аргусов — какой простор для работы! Моя домашняя библиотека регулярно пополнялась пахнущими типографской краской издательскими новинками. Кое-что, впрочем, по прочтении я относил обратно.

Однажды, целую жизнь спустя, я забрел в изменившийся до неузнаваемости «Дом книги», и сам будучи изрядно изменившимся — дипломированным чистоплюем, отцом семейства, государственным служащим с репутацией и намечающимся брюшком. Как обычно, побродил по залам, покопался в новых изданиях и собрался было уже уходить, но... Мне вдруг стало интересно — нет, мне стало совершенно необходимо узнать, смогу ли я, как в прежние годы, вынести из магазина, минуя кассу, какую-нибудь — пусть самую маленькую, пусть самую дешевенькую книжечку. Забытый бесенок, проснувшийся внутри, все подуськивал, все подталкивал меня испытать свое хладнокровие, а заодно — бросить вызов этой надзирающей кодле со всей ее машинерией. «Нет, нет, никакого воровства — просто вынести, а потом сразу вернуться и положить на прежнее место», — уверщевал бесенок. Я отыскал безлюдный закуток и взял с полки первую попавшуюся книгу — кажется, это был путеводитель по Японии. Нужно было всего-то найти и незаметно соскоблить защитную серебряную полоску, без которой ничто не пискнет у выхода, и нахально-вежливый охранник не произнесет громовым басом: «Мужчина, одну минуточку!» Я было начал уже скрести по полоске ногтем — не совсем отдавая себе отчет в происходящем — и вот уже кончик ее отстал от бумаги, и оставалось только потянуть... Столь же внезапно я пришел в себя и поставил книгу на полку. И, как оказалось, правильно сделал — еще не дойдя до электронных рамок, я был остановлен таким же прямоугольным, как эти рамки, охранником, вкрадчиво попросившим меня «открыть сумочку». Народу на выходе скопилось много, но

остановили только меня — значит, мои манипуляции с японским путеводителем не остались незамеченными.

— А в чем, собственно... — начал было я тоном оскорблённой невинности, но в моем положении строптивость была бы явно излишней. Уйти хотелось как можно скорее, я рванул застежку и сунул раскрытую «сумочку» под нос прямоугольному. Он залез туда весь — багровым носом, бровями, лбом, руками-веслами. На вынырнувшей обратно мосластой морде его отпечаталось недоумение: он был уверен, что поймал вора.

«Нет, “Дом книги” уже не тот, — думал я, выходя на Невский. — Да и я не тот». «Сумочка» моя была пуста, японский гид остался на полке, опасаться было нечего, но подходя к рамке я почувствовал, как налились кровью и запылали предательским огнем мои уши. О, где же тот плутовской артистизм, где та изумительная спокойная наглость, благодаря которым я пользовался главным книжным магазином города как личной библиотекой? А главное — где убежденность в абсолютной невинности всех этих мелкоуголовных манипуляций? Удивительно, но в том возрасте я совсем не чувствовал раскаяния, не считая похищение книг ни преступлением, ни даже проступком, достойным осуждения. Любовь к чтению, которую нам столь рьяно прививали в школе и дома, оправдывала любые злодеяния.

Однако похищению школьного инвентаря никакого оправдания быть не могло. Созревшая с годами совесть моя вешала из глубины: «Ты не просто украл, а украл у родной своей школы, у школы, можно сказать, фамильной, где, между прочим, учились и твоя маменька, и твой разлюбезный дядюшка-венеролог, ее младший братец, и твои собственные братья, такие же, впрочем, мерзавцы, как и ты». Совесть была права: получалось, что я украл у своих.

Череп я хранил в прикроватной тумбочке. С затаенной гордостью я показывал его заходившим ко мне друзьям и знакомым. Иногда по вечерам шел гулять с ним, завернутым в наволочку.

Время от времени Йорика забирал мой одноклассник и друг Крутик — череп требовался ему для совершения магических ритуалов. Обладавший пытливым умом и неуемной жаждой впечатлений, каким-то чудом попавший в гуманитарный класс, Лёша Крутиков в то время всерьез интересовался оккультизмом — это было очередное непродолжительное, но глубокое его увлечение. Череп он возвращал в перламутровых каплях свечного воска, а однажды я обнаружил на зубах Йорика плохо оттертые следы крови. В свои таинства Крутик меня не посвящал, всерьез уверяя, что я не готов еще к встрече с Князем тьмы, да и не напрашивался — едва успевая осваивать школьную программу.

В отличие от моего друга меня интересовал сугубо научный аспект. Я всерьез задумался о прижизненной истории Йорика. Кем был этот человек? Как он выглядел? Я даже собрался изучить метод Герасимова и готов был попытаться при помощи пластилина восстановить облик таинственного мертвеца. Благодаря дяде раздобыв кое-какие специальные книги, среди которых был учебник по судебной медицине, я убедился, что когда-то мой Йорик, скорее всего, был женщиной, причем молодой.

В тот год я каждую ночь ложился спать на голом полу — если не считать старого и довольно жесткого ковра — без матраса и подушки. Домашним говорил о желании исправить осанку, на самом же деле это была чистой воды аскеза: живя по-спартански, я рассчитывал закалить тело и воспитать в себе железную волю.

— Ну, ты Рахметыч! — посмеивался в усы, поднимая над потрепанным номером «Нового мира» свои уже выцветшие, вытравленные алкоголем, но еще озорные глаза дядя, выгнанный из дома женой и временно живший у нас — в нашей с братом комнате. Он притулился в углу на древней оттоманке и все вечера проводил за чтением белогвардейских мемуаров. Он и сам смахивал на какого-то бывшего штабс-капитана, скрывающегося от большевиков под видом заросшего щетиной пролетария. Ему тогда было меньше, чем мне сейчас, но он казался нам с братом уже почти пожилым человеком. Он пребывал не в лучшей форме, что совсем не удивительно, учитывая, каким перегрузкам подвергался его организм на протяжении стольких лет. Казалось, не только тело, но и душа у него к тому времени износились до крайности. С каждым годом сцепление ее истертых колес с земной поверхностью уменьшалось, и до катастрофы оставалось совсем немного. Никто из нас об этом не знал, хотя само время как будто посыпало один зловещий сигнал за другим: в те годы люди умирали как-то особенно часто.

Насчет Рахметова дядя попал в точку: в школе мы как раз проходили тот незабвенный роман о похождениях «разумных эгоистов», воле и целеустремленности которых я мучительно завидовал. Книга меня не перепахала, но взбудоражила, а образ таинственного человека, спавшего на гвоздях, на некоторое время стал примером для подражания.

Ложились мы с братом поздно, все что-то читали, о чем-то спорили.

— У вас опять всенощная? — острил дядя, и сам любивший полуночничать.

Он не пил уже вторую неделю, принимал какие-то особые французские лекарства, добытые более удачливыми друзьями-медиками, и выглядел, в общем, довольно прилично. Дядя в качестве третейского судьи принимал участие в наших спорах, учил брата играть в «гусарика», рассказывал истории из врачебной практики.

Когда наконец выключался свет и я, сомлев, засыпал, сквозь тонкую дымную занавесь сна ползли ко мне из черных углов скользкие пупырчатые гады, забирались под одеяло холодные, влажные кровососущие многоноожки. В иные ночи кошмары были совершенно другого рода: мне снились зияющие космические пропасти, в которые я падал, падал и все не мог упасть, наплывали из темноты женские фигуры в полуупрозрачных одеждах, с полупрозрачными лицами. Ужасы стущались, пугающие образы проникали в самые светлые, самые невинные, навеянные памятью о летних каникулах сновидения — идиллические картины дачного лета постепенно насыщались кладбищенскими деталями: на грядках, слишком похожих на свежие могильные холмики, обнаруживались пластмассовые цветы, но это были только цветочки: в колодце, сарае и комнатах дачного дома штабелями громоздились гробы — старые, полуистлевшие и сравнительно свежие, еще обтянутые газетом, в комьях засохшей глины. Там покоились наши мертвцы — прашуры, никогда мною не виденные даже на фотографиях, и те, что умерли относительно недавно. Во сне я недоумевал, почему мертвые находятся в столь близком соседстве с живыми, но принимал это как данность. Мертвый мир темным половодьем затапливал мои сны. Я задыхался, с протяжным стоном открывал глаза и шел на кухню глотать воду. Дядя посмеивался и интерпретировал мои сновидения с сугубо материалистических позиций, уверяя, что единственной причинойочных кошмаров является неудобное спанье на полу.

Вняв его уверениям, я временно переместился на диван, реабилитировал матрас и подушку, однако ночная жуть не прекратилась. Вскоре я пришел к выводу, что виной всему — мертвая голова, покоившаяся в тумбочке, — в каком-нибудь метре от моей собственной, хронически недосыпающей головы. Из фильмов ужасов мне было

известно: если мертвец не предан земле, душа его не может обрести упокоения. Где же гнездится человеческая душа, как не в голове, если она, конечно, не ушла в пятки?

Именно там оказалась моя собственная душа в тот бледный предутренний час, когда я вдруг проснулся в липком поту после очередного кошмара и осознал всю легкомысленность своей кражи. Теперь к нытью больной совести добавился совершенно непреодолимый мистический страх: я был почти уверен в том, что все эти ужасы насыщает на меня моя таинственная покойница, и что именно ее я видел во сне в образе полупрозрачной женщины на фоне звездных бездн.

Первая мысль — сейчас же, не мешкая ни минуты, вынести злосчастный череп на улицу. Этого требовал страх, на пару с бессонницей совершенно расстроивший мои нервы. Вскормленная школьной программой по литературе совесть призывала вернуть украденное имущество назад, в кабинет биологии. Впрочем, призывала не так уж уверенно: череп теперь не был нужен мне, но он требовался Крутику для его магических мероприятий, и лишить его этой игрушки было бы бесчеловечно. Возникла нравственная дилемма, которую во мгновение ока разрешил мой прямодушный друг:

— А ты мне его подари.

Это было в его стиле — преодолевая природную застенчивость, Крутик в совершенстве развил в себе качества, весьма полезные для жизни в социуме: его напускной цинизм и грубоватая манера держаться не единожды сослужили ему добрую службу. Вот и сейчас, обезоруженный его прямотой, я сдался без боя.

Торжественная передача Йорика новому хозяину состоялась в троллейбусе, который вез нас по Невскому проспекту. Избавившись от пакета, я почувствовал и облегчение, и сожаление. Крутик же мгновенно преисполнился озорства, его заискрившиеся серые зрачки нетерпеливо забегали по физиономиям пассажиров и вскоре остановились на двух матронах, державших в объятиях мешок картошки. Радость удачливых добытчиц, смешанная с тревогой за сохранность груза, читалась на их отцветающих лицах. Матроны оживленно беседовали, охая и вздыхая — о том, о чем говорили тогда все: что совершенно нечего стало есть и что за любым углом, в любой подворотне вас могут убить или изнасиловать. Одна уверяла другую, что пятно на лысине Горбачёва — дьявольская отметина. Собеседница, однако, предрассудков не разделяла, веря в науку и прогресс. Обе, впрочем, сходились на том, что страна пала жертвой каких-то нечеловеческих сил.

— Так а что ты хотела, моя дорогая, Ленин-то ведь — гриб! Это же научный факт, — вещала материалистка своей суеверной товарке, сокрушенno качавшей крашеной головой в вязаном берете.

Крутик подмигнул мне, вынул Йорика из пакета и, подойдя к ним, предложил:

— Купите. Недорого. Можно по бартеру — отдам за кило картошки.

Матроны с недоверием покосились на Крутика, потом озабоченно уставились на предлагаемый товар. Одна, рассуждавшая о грибной природе вождя мирового пролетариата, даже взяла Йорика в руки, обтянутые нитяными перчатками, взвесила, как будто это был кочан капусты.

— Какой-то он у вас... старый, — поморщилась она, возвращая череп обескураженному Крутику.

— Молодых разобрали... Берите, не пожалеете, — настаивал Крутик. — Когда-то этот череп принадлежал графу Петру Андреевичу Клейнмихелью. Большевики разорили его фамильный склеп, но череп был сохранен верным камердинером графа, моим прадедом. Достался мне по наследству.

— Да зачем он нам... — качали головой матроны. — Его даже собаки грызть не станут. Вы его лучше в музей сдайте.

У Гостиного двора мы сошли.

— Совсем народ очерствел. Ничем не проймешь...

Крутик был прав, вчерашние советские граждане перестали чему-либо удивляться. Мы шли по городу, вперемешку с табачным дымом вдыхая ветер жестоких перемен, превративший Невский проспект в сплошную барахолку. На перевернутых ящиках и коробках новоявленные торговцы разложили свой смехотворный товар. Никому не нужный хлам из старых, пропахших щами и гуталином квартир перемежался с символами нового времени: иконками, портретами царской семьи, фотографиями голых девиц.

— Почему в трусах? А без трусов? — интересовался, осклабясь, работяга в шапке-петушке, разглядывая загорелых бесстыдниц с узкими тряпочками на бедрах.

Неподалеку плотное кольцо зевак окружило уличного эксцентрика: мужичок-с-ноготок исполнял «арию Мистера Икса», совершая энергичные телодвижения.

— Уста-ал я греться-а у чужо-го огня-а!

Отсутствие и намека на мелодию, нарочитая безголосость певца, его демонстративное неумение играть на гитаре, а пуше всего — эти страстные рывки взад-вперед обеспечивали ему восторженное внимание многочисленной аудитории, состоявшей из людей всех возрастов. Публика хохотала, аплодировала, бросала мелочь. Крутик брезгливо морщился: все это оскорбляло его эстетический вкус. Да и не пристало человеку, чуть ли не каждую ночь вызывающему Ваал-Зебуба, повторствовать низменным пристрастиям толпы.

А жизнь вокруг бурлила. У Гостиного двора отливали медью обветренные рожи валиутных менят, мелькали бритые бандитские затылки, шаталась, собирая пивные бутылки, нищенствующая братия. Фиксатый уркаган тасовал колоду и хриплым тенором в тысячный раз предлагал всем желающим угадать карту и получить вознаграждение:

— Граждане, гражданочки, господа и дамочки! Не проходим, а подходим, выигрываем и уходим! Валета найдем — в ресторан идем! Даму находим, в магазин уходим!

Неподалеку на корточках перед низким столиком с тремя перевернутыми пластиковыми стаканчиками сидел молодой напёрсточник. Стаканчики в его татуированных руках выписывали замысловатые круги и восьмерки под непрерывное завывание:

— А-а-ай следим за руками! А-а-ай кручу-верчу, запутать хочу!

В стороне от этой суэты над лотками с газетами и «политической литературой» отрешенно стояли идеиные борцы. Выделялись обилием красного цвета прилавки коммунистов. В соседстве с их флагами раззвевался черно-желто-белый — имперский. Рядом смурной человек в «гансовке» торговал чем-то антисемитским. В военно-морской шинели и черной кубанке посреди человеческого моря возвышался дюжий усач, в одной руке сжимавший пачку газет, в другой — древко черного знамени, с которого под словами «Анархия — мать порядка» улыбался прохожим довольно умело нарисованный череп. Крутик вынул Йорика из пакета, поднес к траурному полотнищу и, словно ребенку, объяснил:

— Смотри, мой хороший, это — ты!

У Крутика мой Йорик зажил гораздо веселее. Он сразу приобрел довольно лихой вид — водруженный на шкаф, был пожалован сигаретой, солнцезащитными очками-хамелеонами, наушниками от плеера и облезлой кроличьей ушанкой, которую в дальнейшем последовательно сменили мохеровый берет, тюбетейка, танкистский шлем и ржавая немецкая каска.

Вскоре Крутик решил, что Йорику одному скучно, и выкрад из кабинета биологии гипсовую голову питекантропа. Он раскрасил ее гуашью «под пидора» — с подведенными глазами и алыми губами, — прицепил клипсы к ушам и поставил рядом с Йориком. Отныне бывшие экспонаты школьного паноптикума стали неотъемлемой частью уникальной Крутиковой комнаты. Эта комната была полна диковинных вещей вроде склянки со спиртом, в котором плавал вниз головой похожий на инопланетянина человеческий эмбрион. Склянка то ли была украдена из какой-то лаборатории, то ли подарена Крутику знакомой медичкой. Мой друг боялся, что она похищена из Кунсткамеры, куда ее определил еще Пётр Первый. А напившись, всерьез уверял, что заспиртованный зародыш — его брат-близнец, умерший в утробе матери. И даже называл его имя — Ромуальд, или просто Рома. Крутик всегда мечтал о брате — возможно, в этой невинной фантазии воплотилась давняя тоска его домашнего одиночества. Как бы то ни было, Рому не раз приходилось спасать от посягательств — когда (обычно уже под утро) кончались и водка, и деньги, и кто-нибудь обязательно выступал с предложением отлить спирта из банки. Меня передергивало при мысли об употреблении этого мутноватого настоя, но среди разношерстных гостей моего общительного друга попадались и те, что не прочь были закусить самим Ромуальдом. В конце концов заспиртованный брат-близнец исчез — как утверждалось, был проигран Крутиком в очко, но я не исключаю, что залог его сохранности — спирт — был выпит, а самого Рому отнесли на помойку.

Крутик коллекционировал уходящую натуру — портреты вождей, пионерскую атрибутику, разнообразные похищенные им из присутственных мест таблички. Над входом в его комнату был прикручен тот самый столь волновавший меня в детстве металлический прямоугольник с черепом и надписью «Не влезай — убьёт!». Все это заполняло его малометражное жилище вперемешку с постерами голливудских фильмов, портретами полуоголенных поп-звезд, собственноручно написанными картинами, моделями вечных двигателей, самодельными жуткими чучелами птиц и мелких грызунов. Словом, новое местонахождение Йорика было занятнее того узилища, в которое он был заключен мною. Теперь вместо прозябания в школьном шкафу и прикроватной тумбочке судьба ссудила ему принимать участие в дружеских попойках, устраивавшихся Крутиком в перерывах между сеансами связи с потусторонними мирами. Рано или поздно, по мере разогревания аудитории, череп перекочевывал со шкафа на стол, ходил по рукам, был угощаем водкой и целуем в темя. Следовало обязательное фотографирование: щелкала и стреляла фосфорическим огнем дешевая «мыльница», производя на свет два в одном: групповой портрет и натюрморт с черепом. На глянцевых цветных фотографиях, запечатлевавших красные потные рожи пирующих недорослей, Йорик был, пожалуй, единственным, кто выглядел благородно.

Трудно сказать, как долго пробыл Йорик у Крутика. После одиннадцатого класса мой друг поступил в школу милиции и на время пропал из виду. Его захватили новые вихри, у него появились новые друзья, новые девушки. Однажды по телефону я спросил, как ему спится в одной комнате с частью чужого мертвого тела. «Нормально», — ответил он, но ответил как-то неуверенно. Наверное, в тот момент Йорика уже с ним не было. Когда именно и почему Лёшка Крутиков избавился от

моего подарка, остается загадкой. Я не выпытывал, предпочтя забыть о Йорике, как о тех дурных снах, которые он на меня насыпал.

Я забыл о нашем Бедном Йорике на двадцать пять лет. Крутик давно снял милиционскую форму, переменил множество профессий, женщин, приятелей, стилей одежды, мест жительства и осел на окраине города в небольшой квартирке, которую делит с двумя самыми близкими существами — женой и компьютером. Из самого общительного в мире человека он превратился в затворника, болезненно реагирующего на любые сигналы, подаваемые внешним миром, — его на удивление сильно раздражает реальность, начинающаяся по ту сторону железобетонных стен его жилища — очень опрятного и совершенно не похожего на прежнее, затерянное в сумрачном лабиринте проходных дворов и ностальгических воспоминаний. Я был и остаюсь частью этой реальности, а еще — частью прошлого, раздражающего его не меньше, чем настояще. Наше общение давно свелось к редкому — хорошо, если раз в полгода — перебрасыванию сообщениями в мессенджере. Даже звонить друг другу мы перестали.

Я знаю, что мое появление на виртуальном горизонте его не радует. Я вижу, как он морщится, и линии его лица образуют знакомый иероглиф: «За-чем?» И, тем не менее, мой указательный скользит по светящейся кириллице, выводя дежурное «Привет. Как дела?» Мне действительно интересно, как у него дела, но пишу я по другому поводу — более всего меня интересует, кому, в чьи руки он отдал нашего Йорика. «Привет. Нормально», — прилетает ответ.

Почему я вдруг вспомнил об этом несчастном черепе? С какой стати меня стала волновать судьба этой безделицы, канувшей в муть прожитых лет? С чего, собственно, я вдруг озабочился его местонахождением? Если это, как сказал бы какой-нибудь доморошенный психолог, мой «незакрытый гештальт», то почему острое желание закрыть его появилось у меня только сейчас, в сорок три года?

«Помнишь ли ты, старина, тот череп, который я тебе подарил во дни нашей юности? Не знаешь ли, что с ним сейчас, кто его нынешний владелец?» — волнуясь, пишу я. И — не получаю ответа.

Это обычное дело, я давно привык к подобному хамству: если ему не нравится мой вопрос, он его игнорирует. А может, ему просто лень. Два вопроса за один сеанс связи — это ведь слишком. И, тем не менее, мне хочется спрашивать и спрашивать, мне не терпится завалить его тяжелыми, как чугунные гири, вопросами: что с тобой происходит, дорогой товарищ Крутиков? Куда делась твоя феноменальная жовиальность? Кто украл твой фирменный оптимизм? Какой чародей лишил тебя того жеребячьего восторга перед жизнью, той удивительной жажды приключений и неуемной тяги к общению, столь свойственных тебе когда-то? Куда сползаешь ты, в какую полумглу уходишь, дай ответ!

Молчит. Не дает ответа...

Ответ я все-таки получил — через неделю: «Черепушку спихнул кому-то из девчонок. То ли Эмке, то ли Ириске».

Эмка? Я вспомнил, как несколько лет назад, выйдя из метро на окраине города, увидел идущую сквозь толпу ссутулившуюся женщину с большими, невидящими глазами на сером, лишенном выражения лице. Только сев в автобус, я понял, что это была она — наша Эми, в миру Эмилия Лазарчук.

Одно время, уже в последнем, выпускном классе, они с Крутиком дружили — сидели за одной партой, листали какие-то глянцевые журналы и беспрестанно

хихикали. На это было отрадно смотреть: их целомудренный союз доказывал возможность дружбы между юношой и девушкой — дружбы в чистом виде, безекса. Я знал его вкус, он предпочитал совершенно других девушек, а с ней ему было, как он говорил, «по приколу».

Когда я смотрел на Эми, на ее бледное лицо, обрамленное длинными пепельными волосами, стлавшимися по длинному — почти до колен — свитеру крупной вязки, я вспоминал хрестоматийное фото Любови Дмитриевны Менделеевой в роли Офелии, а еще — то место из «Пира во время чумы», где Вальсингам говорит: «Спой, Мери, нам уныло и протяжно...»

Она была бледна какой-то болезненной бледностью, и под ее глазами, всегда припухлыми и влажными, как будто заплаканными, вечно стояли сиреневые тени. В ее жестах, во всех ее движениях чувствовалась некая затвердость; иногда казалось, что ее руки невидимыми веревками были привязаны к туловищу — таким образом, что двигаться могли только белые лопаточки ладоней с плотно прижатыми, тоже словно привязанными друг к другу, пальцами. Вместе с тем, несмотря на малокровный свой облик и общую телесную скованность, Эми время от времени демонстрировала весьма веселый нрав и выглядела довольно озорной девицей. В ней тоже таился бесенок отрицания и сомнения — в духе времени, только что похоронившего целую государственную религию со всеми ее идолами.

На первых порах я стеснялся ее, как стеснялся всех хоть сколько-нибудь «продвинутых» по части интеллектуальных мод. Но ей моя отсталость, напротив, импонировала — по ее представлениям я как человек, пишущий стихи, и должен был быть архаистом и вообще человеком «не от мира сего». Мы не то чтобы сдружились — просто стали чаще оказываться в одной тусовке с Крутиком и Ириской. Пресыщенный вниманием первых красавиц класса, Крутик возжаждал иных утешений — и мы с ним стали завсегдатаями комнаты, представлявшей собой в глазах меломана и библиофила, каковым вдруг почувствовал себя мой друг, настоящую пещеру Алладина. Глаза суетливо разбегались, когда он входил туда. Все горизонтальные плоскости этой комнаты, включая подоконник и пол, были заполнены западными пластинками и редкими изданиями — тоже в значительной части зарубежными. Происхождение этой коллекции не вызывало вопросов: Эми имела непростых родителей — кажется, они были как-то связаны с МИДом. По домам мы разъезжались не с пустыми руками — каждый увозил виниловый диск или книгу. Брали, разумеется, «с возвратом», однако сроки возврата никогда не уточнялись. Своими богатствами Эми делилась охотно, с некоторой долей легкомыслия. Впрочем, по части сугубо дамских сокровищ она была не столь расточительна, хотя и не слишком тряслась над ними.

Однажды Крутик — то ли ради любопытства, то ли по искреннему влечению попробовал перевести их дружеские отношения в иную плоскость — в плоскость громадной кровати, занимавшей едва ли не половину ее девичьей. Начало было положено, оба они оказались в горизонтальном положении, и вот уже белая, никогда не знавшая мужских прикосновений грудь любопытными сосочками выглядывала на белый свет из-под задранной футболки, однако до конца Крутик так и не дошел. Не то чтобы ему не позволили — нет, обошлось без запретов. Она просто спросила:

— А что дальше?

Крутик не на шутку призадумался и остановил свои нахальные пальцы на подступах к цитадели ее невинности. Дальнейшего он представить себе не мог: дружить или приятельствовать с Эми было можно, но быть «ее парнем» для Крутика,

предпочитавшего ярких красоток, было бы «не комильфо». Его можно понять: она была чахоточная дева, а он — не вполне свободен от мнения окружающих.

После школы Эми куда-то пропала — говорили, поступила в библиотечный техникум, что при ее уме и кругозоре было явной игрой на понижение. Все ждали от нее чего-то большего, однако в ее выборе было нечто весьма для нее органичное: ей-то как раз плевать было на мнение окружающих, в том числе тех, кто делал культ из высшего образования. И я не слишком удивился бы, встретив ее однажды в каком-нибудь тишайшем книгохранилище в качестве рядовой сотрудницы, заполняющей формуляры и выдающей читательские билеты.

Нет, скорее всего, Йорик был отдан не Эми, а Ириске. С этой славной девушки у Крутика тоже была дружба — правда, не столь безгрешная, но ведь отнюдь не мимолётный секс определял их отношения, а другие — куда более высокие материи. Прежде всего, их объединяла страсть к хождению над безднами. Главным образом в переносном смысле — но иногда и в прямом. Ночами Крутик водил ее по крышам, они любили, взявшись за руки, постоять «бездны на краю», как говорил все тот же Вальсингам.

К слову, я тоже любил ночные променады над городом, но совершил их, как правило, в одиночестве. Сколько-нибудь отчетливо я помню лишь одну из этих прогулок — ту, что должна была стать последней: удрученный холодностью возлюбленной и затруднениями в освоении школьной программы, в одну чудную майскую ночь я выбрался наружу через слуховое окно, твердо зная, что назад возвращаться этим пыльным путем уже не буду. Та ночь была действительно чудной: снизу, из каменной тесноты двора, на дне которого столь жизнеутверждающие клубились сирень и куда я намеревался спикировать ласточкой, доносилось такое благоухание, что начинала кружиться голова, и город за противоположным краем крыши лежал в маслянистых огнях фонарей, как убранный цветами прекрасный труп. Именно таким виделось мне, вопреки здравому смыслу, мое собственное бездыханное тело. Трудно сказать, что именно в конечном итоге взяло верх над манией самоуничтожения — элементарная трусость или тот самый прорвавшийся сквозь переполнявшую меня чепуху здравый смысл. Пожалуй, ни то, ни другое. Самое невыносимое в воспоминаниях о той ночи — это спокойная готовность к прыжку сродни готовности профессионального ныряльщика, стоящего на вышке в ожидании свистка. Я, всегда боявшийся высоты и смерти, бестрепетно стоял на самом краю жизни, и ржавая жесть уже прогибалась под моими ногами. Однако свисток почему-то не прозвучал. Пролетавший ли мимо ангел тому виной? Не знаю. Потоптавшись на краю крыши с полчаса, я-таки отправился домой через позорное слуховое окно — чтобы лечь спать и все также бесцельно жить дальше. Впрочем, нет худа без добра: в качестве компенсации за нанесенный себе моральный ущерб я впоследствии написал вполне недурной сонет, в который умудрился втиснуть и запах сирени, и неразделенную любовь, и он, кстати, понравился этой сладкой парочке — Крутику и Ириске, обожавшим суицидальные темы в искусстве.

К слову, любовь к поэзии была еще одной скрепой их дружеского союза. Основательно потоптавшись на Серебряном веке, оба — и Крутик, и Ирис — вдруг страстно полюбили стихи Бродского и читали их наизусть при всяком удобном случае. Эми до Бродского не снисходила, поскольку отболела им в более нежном возрасте. А я пока не дорох. Я как самый отсталый все еще сидел на Евтушенко.

Еще один аргумент в пользу того, что после Крутика новой хозяйкой Йорика стала Ириска — ее неравнодушие к эзотерике (которое в основе своей, вероятно, было

простым любопытством). Подозреваю, она могла ассистировать моему другу в проведении черных месс на дому. Однажды он не без гордости расстегнул рубашку, и я ахнул: вся грудь, вся спина его были как будто исписаны красной шариковой ручкой — это напоминало причудливую татуировку — в общем рисунке угадывались волны, горы, деревья, облака. И лишь приглядевшись, я с содроганием убедился, что все это — свежие порезы. Их первое интимное свидание с Ирис состоялось в его чудо-комнате на улице Жуковского. Интимность заключалась в том, что, раздевшись догола, они с увлечением резали друг друга бритвами, буквально залив комнату кровью, — возможно, этим и объяснялись бурые пятна на зубах Йорика, который тоже мог принимать пассивное участие в этом странном действе. Вероятно, его «поили» кровью — почему нет?

— Ничего ты не понимаешь. Это искусство. Его высшая форма. Мы рисовали друг на друге.

Я действительно ничего в этом не понимал, да и сейчас едва ли понимаю. Нашептал ли это вызванный Крутиком бес или все придумала наша неповторимая Ириска Ермолова? Она могла. Было в ней что-то от маленькой ведьмочки.

На Ириску она обижалась — звучало как-то совсем по-детски, к тому же еще свежа была память о несчастной клоунессе из утренней передачи «АБВГДейка». На самом деле ее звали Ира, но для всех она была Ирис. Возможно, тут не обошлось без любви к Набокову, к роману «Смотри на арлекинов!», впрочем, не думаю, что она успела прочитать его, тем более что книга тогда еще не была переведена на русский. Сама она не жаловала расспросов о происхождении своего псевдонима, однако сравнения с одноименным цветком воспринимала благосклонно. Тем более что изображение ириса было одним из ключевых элементов эстетики модерна, который она, мечтавшая стать второй Фридой Кало, обожала. И как бы манерно ни звучало это имя, как бы мезальянсно ни выглядело оно в сочетании с рядовой русской фамилией, она ему вполне соответствовала, ведь Ирис по-гречески — радуга. Она была девушкой-радугой — и отнюдь не только потому, что носила яркие наряды, чем смущала наших пожилых педагогинь, после отмены школьной формы еще не привыкших к пестроте учащейся массы. Радуга была у нее внутри, это проявлялось во всем: в причудах и склонностях, в манере говорить и смеяться, в почерке, в походке, в стилистике сочинений по литературе, в любовных повадках и сумбурности ее неисчислимых эротических приключений. А впоследствии, когда обнаружилась и Ирискина сексуальная всеядность, ее радужное имя засияло новыми красками.

Что еще можно сказать о ней? Ириска была девушкой, подарившей мне первый поцелуй. То есть, у нее-то он был далеко не первый. Да и не подарила, а просто навязала, можно сказать, всучила. Это было у Эми «на хате» — высосав бутылку «Алазанской долины» вперемешку с каким-то сладеньkim ликером, мы слушали Джима Моррисона, распластавшись вчетвером на огромной, как Дворцовая площадь, кровати. Поначалу все было вполне целомудренно. Я закрыл глаза, погружаясь в приятную дремоту, и вдруг почувствовал, что мне трудно дышать. Через секунду я увидел предельно близко кошачьи зрачки болотного цвета, краем глаза сумев заметить, что Эми и Крутик деликатно, на цыпочках ретирируются. «Куда же вы, сквучи!» — хотелось крикнуть, но было поздно. Я старался соответствовать моменту, судорожно соображая, что принято делать в подобных ситуациях. Мне ничего не было от нее нужно, мне совсем не хотелось проделывать с ней все эти взрослые вещи, но сама логика происходящего заставляла меня расстегивать ей рубашку, под которой, вопреки ожиданиям, не было ничего, кроме двух маленьких розовых сосочеков на

совершенно ровной мальчишеской груди. И когда я машинально продвинулся дальше — то есть ниже — и под белоснежными кружевами уже обнаружился рыжеватый пушок, я с радостью услышал слабое: «Не надо». Тогда я не знал еще, что в таких обстоятельствах «нет» может означать нечто совершенно противоположное, и это невежество избавило меня от необходимости продолжать этот мучительный заплыв в неизвестность. Через минуту мы уже сидели одетые и болтали о чем-то отвлеченном. А через четверть часа в дверь осторожно поскреблись. Эми и Крутик пытались сделать вид, что ничего экстраординарного не случилось, но гаденьких своих улыбочек задавить не могли. Ирис, единственная из нас сохранявшая душевное равновесие, прикурила сигарету и спросила, где они пропадали так долго.

— На кухне чай пили, — обиженно соврал Крутик.

Как более опытный товарищ он заботился о моем половом просвещении. Ему нравилось наставлять меня. И пропустить мой первый сексуальный сеанс он не мог. Но то ли замочная скважина была слишком маленькой, то ли дверная щель чересчур узкой — в итоге он так ничего и не узнал. Впрочем, в ответ на его расспросы я не стал выдумывать то, чего не было.

— Нет, не трахнул. Успокойся.

Правду говорить легко и приятно. Мне никогда не грезилось потерять девственность с Ириской, я смотрел на нее без тайных мыслей приобщиться ко все увеличивавшемуся гурту ее любовников.

— Но где ты научился так целоваться? — обескураженно спросил он. — Ириска мне рассказала.

Не помню, что я соврал тогда, о каких своих несуществующих девушках рассказал. Помню лишь, что долго оплакивал невинность своих губ и всерьез опасался, что никогда уже не смогу почувствовать сладость поцелуя желанного и единственно возможного, в любви даваемого — того самого, о котором было написано в известном романе о «разумных эгоистах».

Раздобыть Ирискин телефон спустя столько лет оказалось делом непростым — у Крутика, отрекшегося от прошлой жизни, его якобы не было, прочие выходившие на связь экс-одноклассники и экс-одноклассницы уверяли, что, как и Эми, Ириска пропала из виду сразу после выпускного. К счастью, я вспомнил о рыжем студенте-стажере с незабываемой фамилией и весьма запоминающейся внешностью — у них с Ириской было что-то вроде романа. Найти его оказалось на удивление просто: стоило набрать эту странную — то ли греческую, то ли мингрельскую фамилию, и Интернет сразу выдал знакомую конопатую физиономию, еще больше раздавшуюся вширь. Бывший стажер из педвуза, тренировавший на нас свои зачаточные педагогические навыки, в новой жизни стал муниципальным депутатом, номер его мобильника был в открытом доступе. Мой звонок его насторожил, он долго мычал в трубку — то ли соображал, о ком идет речь, то ли пытался понять, не происки ли это политических конкурентов. В конце концов, промялив что-то нечленораздельное, он продиктовал номер телефона.

Я написал ей в WhatsApp, немедленно вызвав ураган приветствий и расспросов, обильно сдобренных смайликами и сердечками. В этом потоке слов слегка смущало множество грамматических ошибок — поначалу я засомневался в достоверности добытых контактных данных, тем более что тщательно отредактированная женская фотография моей корреспондентки лишь весьма отдаленно напоминала лицо той, что чуть было не лишила меня невинности четверть века назад. С аватарки смотрела

незнакомая щекастая леди средних лет с ярко накрашенным ртом и заново нарисованными глазами. Но она меня вроде бы узнала и была мне, кажется, рада, а огни по части русского языка я отнес на счет женской эмоциональности. Что касается фотографии, то, возможно, Ирис просто использовала чужую — скрываться под масками было в ее духе. После обмена ритуальными фразами насчет идущих дел и утекшей воды я задал свой главный вопрос.

«Какой еще Йорик? Не помню такого. Был у меня Юрик, был и Ярик, а Йорика не знаю», — написала она в ответ, добавив, что если я немедленно не навещу ее скромное жилище, то буду последним гадом на всей планете.

Против этого аргумента устоять было трудно. К тому же я был почти уверен, что череп находится у нее — стоит где-нибудь на видном месте как напоминание о бурной юности. А может, поныне используется в домашних мистериях. Только бы он был цел — только бы не вздумалось ей превратить Адамову голову в ритуальную чашу, спилив крышку черепной коробки.

Едуки к Ириске с бутылкой французского вина и букетом голубых ирисов, я пытался вообразить себе ее жилище, мерещившееся мне почему-то в сумрачно-готическом, то в ориентальном стиле. В кресле у камина мне виделся породистый пожилой муж — утонченный интеллектуал, снисходительно смотрящий на чудачества жены. У ног его лежал такой же породистый пес — например, черный дог. Я приготовился с глубокомысленным видом осмотреть коллекцию восточных амулетов, образцы «актуальной живописи» на стенах, с восторгом обнаружить фигуру Будды в красном углу, вдохнуть аромат жженого сандаля...

Что касается аромата, то его я почувствовал еще на лестнице. Так иногда пахнут квартиры, в которых держат собак. Дверь, обитая истертым дерматином, оказалась незапертой. Позвонив, я услышал из глубины шум воды и приглушенный женский крик, приглашавший войти. Насчет собак я не ошибся: в прихожей меня встретила приветливая бородатая дворняга. Она пролаяла что-то радостно, завертела хвостом и, встав на задние лапы, положила передние — изумительно грязные — мне на грудь. Под вешалкой со старыми линялыми шубами на россыпи истоптанных тапок спала на боку беременная кошка. В первую минуту я решил, что ошибся: ничего общего с априорными представлениями о квартире моей бывшей одноклассницы здесь не было. Признаки обитания в этих стенах мужчины также отсутствовали. Передо мной было давно — возможно, еще с советских времен — не ремонтировавшееся жилье. Но главное, ничего общего не оказалось с тоненькой и гибкой, как ивовый прутик, Ириской у той полнотелой бабёхи в банном халате, с тюбаном из полотенца на голове, которая вместе с облаком пара выплыла из ванной и немедленно заключила меня в пахнущие шампунем объятия.

— А я решила голову помыть. Все-таки гость! Все-таки мужчина! Извини, ненакрашенная — не успела. Давай, проходи на кухню. Зря винишко притащил — я что покречче люблю. Да не переживай, у меня есть.

В квартире было оживленно. Мимо меня в сторону кухни равнодушно прошли несколько кошек и какие-то дети — насупленная девочка-подросток и мальчик лет семи. Судя по голосам, доносившимся из комнат, детей в этом доме было много.

— Ма, опять они мои краски взяли, — плаксиво пожаловалась девочка и, не дожидаясь ответа, ушла.

В тесной кухоньке пахло жареным луком и мусорным ведром. Голубым лепестком трепетал в водогрее газ. Ириска энергично метала на стол, звеня посудой.

Разделочным тесаком моментально расправилась с тушкой бройлера, через минуту уже пронзительно шипевшей на исполинской сковороде под большой, как рыцарский щит, крышкой. Здесь вся посуда была непривычно крупных размеров.

— Сань, можешь лампочку в коридоре ввернуть, пока я тут вожусь? — бросила Ирис через плечо. — Стремянка в кладовке. Лампочки там, справа, на полочке.

Я так и не понял, чего в этом доме было больше — детей или кошек. И те, и другие то и дело попадались мне на пути. Проходя по сумеречному коридору, я не преминул заглянуть в одну из комнат, откуда доносились пронзительные детские голоса. В ее дальнем углу белобрысые двойняшки с увлечением рубились в компьютерную стрелялку. Мое появление не вызвало у них никакой реакции — видимо, к гостям тут привыкли. Беглый осмотр помещения присутствия Йорика не выявил. Впрочем, череп мог находиться под завалами разнообразного хлама, сложенного по углам этой довольно просторной комнаты. На полках и шкафах тоже было полно всякой рухляди — коробок, свертков, полиэтиленовых мешков. Небоскребами высились пестрые стопки одноразовых книг и отживших свой век видеокассет. На диване, вытянув костиистые босые ноги, дремала устрашающего вида старуха. Из ее приоткрытого рта одиноко торчал желтый клык. Стараясь не шуметь, я продолжил путь к кладовке, которую тоже не лишне было осмотреть.

Дело это было безнадежное — в кладовой, как и во всей квартире, наблюдалось невообразимое количество хлама, и шансы найти что-либо в этом хаосе при поверхностном осмотре были ничтожно малы. Единственным способом узнать местонахождение Йорика могло быть интервью с хозяйкой. Закончив с лампочкой в коридоре (залипанная краской стремянка угрожающе скрипела), я вернулся на кухню, застав там, как говорит один мой приятель, «душевный столик». Передо мной румянилась на тарелке куриная ножка, увязшая в дымящейся лаве картофельного пюре, по которому растекалось расплавленное золото сливочного масла. Рядом символами изобилия громоздились в мисках домашние соления, мраморно белели на тарелке брускочки сала. В центре стола ледяной башней возвышалась литровая бутылка водки, извлеченная из морозильника.

Ирис возилась со спичками — собиралась зажечь мятую новогоднюю свечу в виде ёлки, вставленную в аляповатый, залитый воском подсвечник.

— Для настроения, — игриво подмигнула она.

Я смотрел на нее, так и не снявшую свой султанский тюрбан, и мысленно вопрошал: «О, где ты, где ты, где ты, Ирис? Куда делась та маленькая стройная девочка, любительница Бродского и кровавого боди-арта?» Лицо ее вполне соответствовало изображению на аватарке, но узнать в этом наплыве щек, в этой тяжелой маске из дрябловатой мякоти те — никогда не любимые мною, но по-сестрински милые сердцу черты было трудно...

Когда все было готово, она опустилась на табурет, взяла рюмку и воодушевленно выдохнула:

— Ну, за встречу!

Мы опрокинули, я сразу налил по второй.

— Ну, рассказывай!

— Нет уж, сначала ты. Как живешь?

— Да нормально живу, чего Бога гневить. У меня производство кондитерское, — не без гордости ответила она. — Тортики на заказ леплю. Бабуля помогает и дочка, Верочка, — ты ее видел. Пирожные тоже могу. Народ метёт за милую душу. Утром

сегодня пирог вон вишневый продала — большой такой, во весь стол. Хочешь — тебе со скидкой...

— Сладкая женщина, значит, — усмехнулся я, вспомнив одноименный фильм.

В ту же секунду я пожалел, что сказал это: под столом моей голени коснулось что-то мягкое — я было решил, что кошка, благо этих тварей в квартире было не счесть, но по взгляду Ирис понял, что главной кошкой здесь числилась она.

— Еще какая сладкая, — промурлыкала Ириска.

— За тебя! — нашелся я.

Мы снова опрокинули.

— За детей!

— За родителей!

Она медленно, но верно пьянела. Еще рюмку, и можно начинать расспросы.

— Общаешься с кем-нибудь из наших?

— Да нет, в общем. После школы как отрезало. А ты?

— Да я, в общем, тоже. Ну, давай за школьные деньки, так сказать!

Мы снова опрокинули. Я чувствовал, как первая, самая легкая, самая приятная волна опьянения накатывает на меня — еще слишком слабая, чтобы накрыть с головой и унести в открытое море алкогольного угара, но уже грозящая постепенной потерей самоконтроля. От момента, когда «падают шторки» и все становится возможным (даже, например, совместное посещение ванной комнаты — единственного в этой многолюдной квартире места, пригодного для уединения), — я находился рюмках в пяти-шести. Надо было переходить к делу. Я налил еще по одной.

— Ну, а теперь колись, подруга, куда череп дела, — пророкотал я, с преувеличенной строгостью ткнув в ее сторону обглоданной куриной косточкой.

Ее реакция была весьма неожиданной. Она медленно опустила глаза, скав в руке вилку с соленым груздем. Потом исподлобья посмотрела на меня — в этом взгляде смешались предельное изумление и... запредельная ненависть.

— Откуда ты знаешь...

Это был не ее голос. Более того, этот голос был уже не женским и вообще не человеческим — таким утробным баском вещают откуда-то из жутких глубин засевшие внутри человека демоны во время церковной отчитки.

— Откуда ты знаешь... — снова произнес этот жуткий голос, и мне стало совершенно ясно, что медлить с ответом не стоит. Ибо застывшая в ее кулаке вилка вполне может совершить молниеносное путешествие к одному из моих вылупленных от удивления глаз.

— Так это... Крутик сказал, — сдал я старого друга.

— Кто?

— Бывший оперуполномоченный Алексей Крутиков, — я еще пытался шутить, но понимал, что ситуация неудержимо сползает в какой-то адский мрак.

— Ты что, в ментовке работаешь?

Это была ярость, доведенная до температуры кипения. Я покосился на дрожащую шляпку соленого груздя, вспомнил про разделочный нож в раковине, костлявую старуху на диване, и каждой клеткой своего жизнелюбивого тела почувствовал, что вполне могу разделить участь бройлера.

— Ты зачем пришел? — по-змеиному прошипела она.

— Да что с тобой, Ириска?

— Ты зачем пришел?! — прорычала она, вскочив.

Я тоже поднялся на ноги и машинально поправил галстук — рука сама потянулась

к шее. Но тут моя визави громко всхлипнула и вцепившись в свой тюрбан, плюхнулась обратно на табурет.

— Вы не представляете... — начала она после минутного молчания, не поднимая головы. — Ты не представляешь, какой он был сволочью... — прежним, только бесконечно усталым голосом протянула она. — Меня бил, детей бил... Баб сюда водил — прямо при мне. Я не хотела... Он пьяный пришел. Я его оттолкнула, понимаешь? Он сам упал, башкой ударился. Вон о край мойки. Не так уж и сильно... Я «скорую» хотела вызвать, но смотрю — поздно.

Я ничего не понимал. Я лишь смутно догадывался, что к Йорику ее рассказ отношения не имеет.

— Так значит, не у тебя он? Не у тебя, говорю, череп-то?

— Я его к сестре на дачу отвезла. Там в лесу закопала. Но теперь и сама не найду. Да и не хочу. Надо вам, вы и ищите.

— Зачем закопала-то, дурёха? — все еще не понимал я. — Мне бы лучше отдала...

— Ты что, дурак? — вскинулась она. — В твоем-то черепе что — опилки? Башки нет, значит, труп не опознать. Мясо-то я Диксону скормила — ты с ним в прихожей познакомился, — кости потом месяц по мусорным бакам раскидывала. А кишki его поганые — в Мойку. Он все рыбу ловил, а потом сам на корм своей плотве, будь она проклята, пошел. Только в канторе вашей галимой я об этом не скажу. Понял? Не знаю ничего — пропал мужик и пропал. Слышишь, ты? Четыре года прошло — не докажете.

Она горделиво вскинула голову, ее заплаканные глаза вызывающе сверкнули. Тут только до меня дошло. Я почувствовал, как проглоченные куски бройлера просятся назад. Не тем ли самым ножом, которым...

— Ириска...

— Я не Ириска.

— Ирис...

— Я не Ирис. Я Ирина. Ира я. Понял?

Ее зрачки были покрыты коркой льда — как бутылка, за которую я ухватился, словно за последнюю точку опоры.

— Ладно, Ирка. Забыли. Давай, что ли, выпьем... За упокой души...

Когда человеколюбивая собака-людоед пролаяла мне что-то на прощание и дерматиновая дверь за мной захлопнулась, я что было прыти припустил вниз по лестнице, на ходу наматывая на уцелевшую шею шарф и не без труда пытаясь осмыслить произошедшее. Чувствовать себя живым и целым, не нарубленным на собачьи порции, было приятно, хотя меня все еще подташнивало при мысли о том кошмаре, который четыре года назад творился в этой чертовой квартире. Где были в это время дети? Неужели все происходило при них? А старуха? Помогала кромсать тушку зятка?

Нет, конечно, это была не она — не Ириска. Скорее всего, эта рыжая bestия, этот чертов народный избранник, подсунул мне какую-то другую Иру — одну из тысяч обыкновенных Ир. За этот подлог его самого надо пустить на корм рыбе! Впрочем, возни с таким боровом было бы слишком много.

Ну а если это все-таки она, наша девочка-радуга?

Выскочив на улицу, я долго не мог надышаться.

Теперь можно было попробовать наведаться к Эми. При всей своей феноменальной забывчивости я отчетливо помнил место, где она жила. С фотографической

точностью я мог воспроизвести в памяти многоугольные контуры ее огромного двора, сворачивая в который с узкой улицы я всякий раз на несколько секунд испытывал что-то вроде пространственной дезориентации — перед глазами распахивалась внезапная ширь, в которой свободно мог бы уместиться целый микрорайон. Но капитализм, как и природа, не терпит пустоты — когда спустя столько лет я снова оказался во владениях Эми, там, где мы вчетвером бродили по заросшим лебедой пустырям, выгуливая ее визгливую болонку, теперь торчали три многоэтажных близнеца, три богатыря в стеклянных шлемах и зеркальных латах. Такие дома принято называть элитными. Этот украшающий эпитет был жирно подчеркнут сплошной железной оградой, опоясывавшей территорию проживания успешных людей. Считавшаяся некогда роскошной кооперативной брежневка, в которой жила наша Эми, убого жалась в стороне, как бедный родственник.

Пришлось обойтись без звонков вежливости — номера ее телефона ни у кого не было. Нехорошо заваливаться в гости без предупреждения, тем более спустя двадцать пять лет, но во внезапности моего появления могла быть известная польза: если череп у нее, она не сможет отвертеться. Я увижу все по глазам, не особенно умевшим врать.

По пути я пытался представить, какой она стала. Речь не о внешности — если я не обознался тогда и встречаенная мною возле метро женщина когда-то действительно была Эми, — то, вопреки усилиям времени, она не слишком-то изменилась. Интереснее было узнать, что осталось в ней от той странноватой девы, помешанной на рок-н-ролле и обожавшей все, что принято называть постмодернизмом.

На четвертый этаж я поднялся в старом, плохо пахнувшем лифте, с приятным недоумением обнаружив на его грязных стенках полустертые, сделанные еще Крутиком, надписи и корявые полудетские рисунки-шаржи, изображавшие нашу четверку: Эми с Ириской, летящих на метле, длинного и сутулого меня с выдающимся кадыком на полуохлом тощем Пегасе. Себя Крутик изобразил мчащимся на мотоцикле статным атлетом с голым торсом и в штанах с черным поясом — ни дать ни взять Жан-Клод Ван Дамм. Не заставая Эми дома, Крутик оставлял ей зашифрованные послания. Она изредка отвечала на них короткими английскими фразами, рисуя в конце маленькие условные рожицы — предтечи нынешних «смайликов». Вид этих посланий из прошлого, этой пещерной живописи нашей юности, настолько взволновал меня, что я долго стоял перед знакомой дверью, медля возвестить о своем прибытии.

Входная дверь многое может рассказать о квартире и ее обитателях. Эта не была исключением: если в те далекие времена она бодро заявляла о том, что хозяева состоятельны, прогрессивны и чистоплотны, то теперь сообщала нечто совершенно обратное: понуро бормотала о постигших семейство неурядицах, об утрате ими не только высоких доходов, но и элементарной опрятности. В нескольких местах истертая кожа была размашисто распорота — то ли это была месть соседей, то ли заурядный бытовой вандальизм. Внизу дверь была особенно грязной — очевидно, хозяева имели обыкновение закрывать ее ногами. Впрочем, хозяева ли? Неизвестно, кто живет за этой дверью теперь. Прежние владельцы — родители Эми — вполне могли продать ее или разменять. В этом случае моя миссия оборачивалась провалом: последняя нить была бы оборвана.

Наконец, после нескольких минут безмолвного стояния я нажал на истертую кнопку звонка. За дверью послышалось знакомое щебетание искусственного соловья — шик по тем невероятным временам, когда мы вчетвером собирались тут, чтобы побалдеть под музыку и сухое вино.

Что сказать, если подойдет Эми? Ничего не говорить — просто улыбнуться ей в дверной глазок. А если не узнает — назвать ее по имени...

Я приложил ухо к двери — в квартире явно кто-то был. Этот кто-то совершенно не таился от меня, незваного пришельца. Женский голос в глубине квартиры ровно вещал что-то, и можно было бы решить, что это радиоприемник, который не выключили перед уходом, если бы не скрип паркета и странные, похожие на сдавленное мычание звуки, то и дело прерывавшие этот монотонный, как молитва, поток неразличимых слов. Я проявил настойчивость, граничащую с нахальством, раз за разом надавливая на кнопку звонка, заставляя электрическую птичку заливаться страстными трелями. Потом начал стучать — сначала кулаком, а затем и носком ботинка. Усилия мои оказались тщетны: мне не открыли ни через четверть, ни через полчаса. Как будто эта ободранная дверь была границей между параллельными мирами, обитателям которых не суждено увидеть друг друга.

Я приезжал сюда трижды — так обычно бывает в сказках, где ничего не происходит с первого раза. Вторично я навестил этот дом уже спустя полгода — командировка, загнавшая меня на окраину ойкумены, перетекла в длительный отпуск, который я провел на противоположном конце земного шара. Когда же, загорелый и полный оптимизма, я снова оказался перед знакомой дверью, мне опять не открыли — правда, чье-либо присутствие в квартире на сей раз не обнаруживалось — если кто-то и был там, то, верно, спал или нарочно затаился в неподвижности. Между тем об обитаемости этой квартиры косвенно свидетельствовали засохшие отпечатки разнокалиберных каблуков, по всей видимости, женских. Рядом змеились следы колес — от детской коляски, решил я. Было странно думать, что у Эми могли быть дети — а впрочем, почему нет? Почему бы ей не родить какого-нибудь бледноликого вундеркинда?

Итак, вторая попытка тоже оказалась неудачной. И только в третий раз мой визит увенчался успехом.

Невидимая птичка снова захлебывалась бесполезным чириканьем. В перерывах между соловыми руладами я прикладывал ухо к дверной щели и жадно вслушивался в ватную тишину квартиры. Я был близок к бешенству. Мне хотелось наказать эту упрямую дверь, не пускающую меня в прошлое, — например, добавить новый порез на ее старческой коже. Ограничившись лишь тремя ударами кулаком и одним, не вполне удачным — ногой, я, слегка прихрамывая, направился к лифту. Спускаясь вниз, с грустью перечитывал знакомые надписи, дивясь, насколько коряв был крутиковский почерк. Нарочно прихваченным с собой черным маркером ниже размашисто написал: «Приходил тот, кто хуже татарина». От этой немудреной остроты протянул пунктирную стрелку к собственному кадыкастому изображению, контуры которого пришлось немного подновить. Эми сообразительная, она поймет. Несколько секунд я боролся с соблазном пририсовать снизу череп, но лифт уже скрежетал, приземляясь, и я сунул фломастер в карман.

...Из лифта я выходил в тот момент, когда открывалась, визжа ржавой пружиной, парадная дверь. Раздраженно расшвыривая сухие щепотки слов, среди которых можно было различить только матерные, восточного облика женщина вкатывала в дом инвалидную коляску. Сидевшая в коляске Эми не слишком изменилась — та же бледность, те же фиолетовые мешочки под глазами — только сами глаза были совершенно другие, как будто украденные хризолитовые подлинники заменили стеклянными копиями. Голова ее, увенчанная нелепым вязанным колпаком, была чуть

наклонена вперед, рот приоткрыт — словно она хотела что-то сказать и все не могла собраться с мыслями.

— Эми...

Услышав свое имя, Эми — вернее, ее печальная тень, как будто улыбнулась, но уж точно не мне: смотреть она продолжала мимо или сквозь меня — в светлую, видимую только ей даль.

Несмотря на боль в лодыжке, я помог поднять коляску к лифту. Восточная женщина совсем плохо говорила по-русски, но слово «пандус» знала.

— Пандус нэт, билят, — со злостью констатировала она.

Я протянул ей пятисотрублевую бумажку. Это сделало ее разговорчивее.

— С балкона прыгал, голова плохой был. И сиделка плохой был — не смотрел как надо. На дерево попал — хорошо.

Мы вкатили коляску в лифт. Я продолжал расспросы.

— Мама-папа? Нэт, — женщина неопределенно махнула рукой — это жест мог означать что угодно, в том числе отъезд за границу или отбытие на кладбище.

О том, кто именно дает деньги на уход, вытянуть не удалось. Она назвала заурядное женское имя-отчество, ни о чем мне не говорившее. Вероятно, какая-нибудь родственница. Почему Эми не отправили в больницу, тоже было неясно. С одной стороны, понятно нежелание отдавать родного человека в казенное учреждение, в грубые лапы санитаров. С другой — держать душевнобольную в квартире без квалифицированного присмотра опасно. В окно она уже не выйдет, но пустить газ или устроить пожар ей под силу.

— Уйду, сказала, — бормотала водительница коляски, выкатывая ее из лифта. — За такой работа другой дэнги надо. Жалко ее, но пандус нэт... Мыть, стирать, суп-каша варить надо? Надо. А я один совсем...

Когда мы оказались перед входной дверью, возникла заминка, что-то вроде неловкой паузы. Моя собеседница нетерпеливо звякнула связкой ключей в кармане куртки, но открывать не торопилась.

Я снова посмотрел на Эми. Она по-прежнему сидела в оцепенении, слегка скособочившись и продолжая невидяще смотреть перед собой. Присев перед ней на корточки, я взял ее руку — сухую, прохладную и бессильную. Подержал немного и поднес к губам. Ее белёсые брови поползли вверх и по-детски сложились домиком — все ее лицо приобрело выражение мучительной жалости — так смотрят на раненую птицу или безнадежно больного ребенка. На кого в этот момент глядели ее глаза? Кого они так жалели? Единственным достойным сострадания существом здесь была она. Через минуту вернулось прежнее выражение — вернее, отсутствие какого-либо выражения снова покоилось там, где когда-то было ее лицо.

В эту минуту в моей голове заворочалась дикая мысль: что если все это случилось с ней из-за Йорика? Что если это он сделал ее такой? И, если я найду его и унесу отсюда, быть может, рассудок вернется к ней...

— Давайте помогу, — я попытался перехватить коляску.

— Нэт, нэт, я сама, я сама... — испуганно затараторила женщина, вцепившись в ручки.

— Я помогу вам. Я друг детства... Друг семьи, так сказать... Я свой. Я помогу вам...

— Нэт, нэт... Мужчина... Я вас нэ знаю...

— Хорошо, хорошо. Одну минуточку. Подождите. Я только попрощаюсь.

Я снова опустился на корточки перед Эми, все так же с полуоткрытым ртом смотревшей куда-то в свой таинственный мир, и опять завладел ее бледной, в голубых

прожилках, с неровно остриженными ногтями, бесконечно жалкой рукой. Хотя бы одна минута просветления, хотя бы несколько секунд!

— Ну, до свидания, Эми... — я встал и направился к лифту.

Женщина медлила, позывая ключами. Она выжидала. Когда автоматические створки почти сомкнулись передо мной, лязгнул, наконец, дверной замок, заскрипели старые петли. Я быстро сунул ладонь в щель, и двери лифта, помедлив секунду, поехали назад. Женщина обернулась, но было уже поздно: я бросился к двери в тот момент, когда передние колеса уже перекатились через порог.

— Аа-ай, — жалобно вскрикнула она.

— Я помогу вам! Тише! Тише! — шипел я, боком протискиваясь в полутемную прихожую.

В нос ударили запах многолетней затхлости. Женщина за моей спиной испуганно лепетала что-то на своем языке. Вскоре мне стало понятно, почему она столь ревностно обороняла вход: из некогда родительской комнаты вышел заспанный, похожий на сушеный инжир низкорослый мужчина лет пятидесяти, из-за его спины с любопытством выглядывала смуглая девочка-подросток.

— Это моя... Они завтра вокзал... — раздался плаксивый голос сзади.

Оказалось, я помнил в этой квартире каждый угол, каждый закуток. Ничего здесь не изменилось — мебель, обои — если не считать цветовой гаммы, вернее — одного единственного цвета, в который слились все прежние краски этого дома. Серый цвет преобладал — цвет пыли и обреченности. Цвет времени. Все здесь как будто выцвело, выгорело на солнце.

Я рванулся к комнате Эми. Все в ней выглядело иначе, без прежнего сумбурного уюта полубогемной норы. Знакомая «безразмерная» кровать была не убрана, скомканное, давно не стиранное белье серой горой возвышалось среди общего беспорядка. Седые слои пыли покрывали все поверхности — от подоконника до кроватной спинки. По полу валялись обрывки бумаги, какие-то лоскуты, грязные бинты, несколько раздавленных пластиковых стаканчиков.

Я заметался по квартире, шныряя глазами по углам и открытым поверхностям, бесцеремонно заглядывая в шкафы. Йорика нигде не было. Молчаливой свитой за мной бегали беззаконные жильцы: к мужчине и девочке добавилась беспрерывно охающая златозубая толстуха в пестром платке с младенцем на руках. Младенец вскоре заплакал, что придало всей этой сцене душераздирающий вид.

— Эээ... Чего хотел,уважаемый? — наконец, прорезался мужской голос.

Я неожиданно расхохотался — то ли меня действительно рассмешил этот вопрос, то ли овладевший моим рассудком демон имел слабость к театральным эффектам.

— Я ищу череп. Че-реп, понимаешь? — я растянул пальцами уголки рта, изображая Йорикову улыбку. — Отдай мне его, и я уйду.

— Нэт, уважаемый, тут такого, — испуганно заулыбался мужчина-сухофрукт, обнажив блестящие золотые резцы посреди зубной черноты.

Еще один пузырь дьявольского хохота лопнул внутри меня.

— Есть! Есть тут такой, уважаемый! Ищи! Ищи ты тоже! Ищите все! Иначе всех сдам! Слышиште?

Не верилось, что это говорил я. Да и сейчас верится с трудом. Тем не менее, человеком в черном пальто, бегавшим по чужой квартире в поисках утраченного черепа и скверно орущим, был именно я. Забежав в ванную комнату и увидев в треснувшем зеркале вспотевшую, искривленную яростью физиономию, я не сразу узнал себя. И только чуть позже догадался, что сам начинаю сходить с ума. Видимо, воздух этой квартиры был пропитан безумием.

Не знаю, сколько времени прошло, пока я носился по комнатам, вскакивал на стулья, шаря по верхам ветхих шкафов, выдергивал ящики из комодов, расшвыривая их убогое содержимое. Последним местом, куда я сунулся, была кухня. На заляпанном, усеянном хлебными крошками и зернами гречневой каши обеденном столе стояла треснувшая голубая миска с недоеденной вермишелью. Я опустился на грязный, липкий стул и, глядя на эту миску, вдруг ощутил чудовищную, парализующую тоску. Прошло минут пятнадцать, прежде чем мушиные лапки рассудка вновь зашевелились в моей голове.

Появился златозубый мужчина, поставил передо мной стакан, доверху наполнил его водкой и почтительно отошел. Все святое семейство сгрудилось у входа, наблюдая, как я медленно, не морщась — словно простую воду — пью эту дешевую дрянь. О, если бы опьянеть! Но водка не действовала. Он налил еще. Я с удивлением огляделся по сторонам, не до конца понимая, как оказался здесь, в этой кухне. Мой блуждающий взгляд скользнул по деревянной хлебнице, по переполненному мусорному ведру и остановился на розовых закатных облаках, висевших в прямоугольнике окна. Не отсюда ли вышла однажды Эми? Не здесь ли стояла она в последний раз на своих худых ногах? Окно было старое — не стеклопакет, а обычная деревянная рама, давно не крашенная, с чешуйками высохшей эмали. Я дернул шпингалет, толкнул скрипучие створки, впустив в помещение наполненную сладким запахом прели свежесть осеннего вечера, далекий лай собаки, крики детей и птиц, гул невидимого самолета.

Мир равнодушно продолжал свое непостижимое существование.

— Не сидите на ступенях эскалатора!

Я не сразу понял, что этот пронзительный женский крик обращен ко мне. Водка начала действовать с большим опозданием — исподтишка ударила в висок у входа в метро. Мир накренился и стал медленно съезжать — меня, что называется, повело. К счастью, внимание охраны было всецело поглощено медицинскими масками на лицах входящих, недостаточная твердость моей походки никого не насторожила. Пресловутый «масочный режим» был мне на руку во всех отношениях: машинально натянутый мной на физиономию бело-голубой прямоугольник не только спасал от венценосного вируса, но и прикрывал мой неудержимо кривящийся в улыбке рот. Что-то странное происходило с моим лицом. Оно тоже «поехало», как и все вокруг. Человека с такой перекошенной рожей едва ли можно пускать в метро. Но благодаря маске я свободно вошел и, пройдя турникет, ступил на раскладывающуюся под моими ногами чудо-лестницу. Почувствовав внезапную слабость в ногах, мешком опустился на ступень, и тут водка нанесла второй удар: я, наконец, заплакал.

— Мужчина, я кому говорю?

Да, это относилось ко мне. Пришлось подняться на хлипкие ноги и вцепиться в приплюснутого червя, тянувшегося вниз, в теплое чрево этой рукотворной преисподней, непрерывно поглощавшей и изрыгавшей наружу бесконечные гирлянды человеческих голов. Всё вокруг — круглые своды наклонной шахты, похожие на факелы светильники, ребристые ступени под ногами —казалось текучим и вязким, как сгущенное молоко.

Внизу на перроне стояло и ходило множество пассажиров, и было совершенно непонятно, для чего такое огромное количество людей скопилось под землей. Из черноты тоннеля задул несвежий теплый ветер, вспыхнул электрический глаз приближающегося поезда. Возвестив о своем прибытии трубным воем, состав со свистом затормозил, передо мной раздвинулись автоматические двери, между вагоном и перроном начался обычный обмен телами — одни выбросило наружу, другие, в том

числе и мое, втянуло внутрь. Оказавшись в душной тесноте, я ухватился за металлический поручень и осторожно огляделся.

Зачем нас так много? Какой в этом смысл? Чем это оправдать? Неужели существование вот этого, похожего на морскую свинку маленького человечка в дурацкой шапке так уж необходимо Вселенной? А этот длинноносый и сутулый сопляк, чем-то напоминающий меня двадцатилетней давности, — какие надежды возлагает на него «предвидение»? И зачем это бесконечное повторение одних и тех же надежд, иллюзий, разочарований? Ведь все и так ясно.

— Все и так с нами понятно!

Неужели это кричу я?

Я вдруг испытал невыносимую жалость ко всем этим погруженным в себя или в свои телефоны, болтающим, толкающимся, раздражающимся друг на друга нелепым двуногим тварям — моим ближним, в самом прямом смысле этого странного слова. Столько людей, и каждый из них когда-нибудь умрет, каждое из этих лиц исчезнет в огне крематория или могильной гнили. Каждому уже назначен день смерти — единственный и не отменимый, как день рождения. И есть в вагоне человек, который умрет раньше других. Этот бравый отставник? Или вон та пожилая невротичка? А, может быть... Я встретился глазами со своим черно-белым, размытым, похожим на негатив двойником в черном стекле поверх надписи «Не прислоняться», за которым, казалось, была бесконечная ночь — та самая космическая бездна, которая виделась мне в кошмарах, навеваемых Йориком. Тут только я понял, что еду не по своей ветке.

Домой не хотелось — я вышел в центре, у Гостиного двора. Вид Невского проспекта, как всегда, подействовал на меня освежающе. Площадка перед торговыми рядами, четверть века назад именовавшаяся «Стеной плача» и кишевшая преступным элементом вперемешку с окологородническими зазывалами, была чиста и малолюдна. Я постоял немного лицом к Пассажу, спустился в подземный переход, где вдохнул аромат восточных курений, возле витрины Елисеевского поглядел на механический балет шемякинских уродцев, мимоходом взял фляжку коньяку и пошел дальше, в сторону Фонтанки — ноги сами понесли меня к дому, где я когда-то жил и с крыши которого когда-то столь блестательно не прыгнул. Вспомнив об этом, я поежился и машинально перекрестился, мысленно благодаря Неизвестно Кого за ниспосланное мне и спасшее меня в ту майскую ночь малодушие, — чего греха таить, ведь все-таки именно малодушию обязан я всем, что у меня на сегодня есть: коллекцией воспоминаний о глупо, хотя и весело прожитых годах, несколькими десятками бодрых стихотворений и двумя чудными девчушками, которые ждут папу домой, а он все шляется неизвестно где.

Я как во сне пересек суетный Литейный, сунулся в Ахматовский двор. Там было хорошо, и я бы остался подольше, но набежавшие откуда-то шумливые молодые графоманы собирались читать здесь стихи, и мне с моим недопитым коньяком пришлося ретироваться. Снова Литейный, и тут улица Жуковского выхватила меня из человеческого потока, затянула, полуспящего, в свой полупустой желоб, потащила, поволокла, и почти в самом конце — там, где уже маячил призрак Греческой церкви, заставила остановиться.

Это была его, Крутика, арка. За ней — маленький двор, но этот двор — лишь маскировка для непосвященных, его мы, посвященные, пересекаем наискосок и через узкий проход попадаем в другой — более просторный двор, где должна быть — вот, кажется, и она — Лёшкина дверь. Дальше — по лестнице на четвертый (или пятый?) этаж. Я подхожу к двери, но она, конечно, заперта, а тыкаться в домофон бессмысленно: Крутик здесь давно не живет. Его развеселую коммуналку, наверное,

давно расселили. А что если — нет? А что если Йорик — все еще там, в захламленной кладовке, под стопками старых газет, в каком-нибудь пошлом полиэтиленовом пакете, со сдвинутой на сторону челюстью — терпеливо ждет, когда его опять извлекут из темноты, и в его жизнь снова войдет праздник?

Я допил коньяк и пошел прочь.

В храме, куда я, устав шататься по улицам, спустя полчаса забрел в надежде на тишину и полумрак, было неожиданно шумно и светло. И какая-то уж слишком светная, хотя одновременно и чересчур благостная картинка предстала передо мной: в самом центре, под сияющей люстрой, одетые в праздничные белые платьища девочки с цветами в руках и мальчики в аккуратных выходных костюмчиках обступали священника — неправдоподобно, кинематографично благообразного. Дети тянулись к нему, похожему на огромную завернутую в золотую фольгу конфету. А батюшка, умиленно прищуренными глазками оглядывая их из-под своего золотого горба, что-то тихо, вполголоса говорил им сквозь медицинскую маску, время от времени поглаживая согласно кивающие головки. Вдруг он замолчал и поднял глаза на меня, стоявшего у входа. Мне показалось, что он кивнул мне и как-то лукаво при этом улыбнулся сквозь маску — словно бы старому знакомцу. Я резко развернулся и вышел вон, едва не сбив с ног осенявшую себя крестным знамением бабульку. На улице, не отходя от церковных дверей, достал новую, еще не початую фляжку коньяка и сделал хороший глоток. Когда проходит некоторое время и ты начинаешь трезветь, ощущая звенящую пустоту в голове, как-то особенно приятно разом вернуться в прежнее состояние, не так ли? Ну, куда пойти теперь? Пожалуй, домой...

Когда фляжка наполовину опустела и я вернулся в храм, ни священника, ни детей уже не было. Только едва не сшибленная мною старушонка топтаясь возле церковной лавки, мусоля в скрюченных пальцах только что купленную свечку.

— Вот и ты, овца заблудшая, сподобилась в Божий дом заглянуть...

Я обернулся. Батюшка — теперь уже без маски и без своего торжественного горба, в простом подряснике, все так же лукаво улыбался мне из светло-русых аккуратно расчесанных зарослей.

— Как дела, Александр? Узнаёшь?

Узнать кого бы то ни было в этом вы涌现出, покрывающем половину лица не золотом, но местами позолоченном руне было невозможно. И все-таки я вспомнил, кому принадлежали этот прищур и этот голос — голос, изумительно певший под гитару матерные песенки, произносивший длинные затейливые тосты, рассказывавший самые свежие и самые похабные анекдоты. Это был Лёнька Брагин, однокашник Крутика, завсегдатай его пиршественных чертогов, приводивший туда всякий раз новую девицу, с которой, как он уверял, знакомился по дороге. Он даже жил у Крутика некоторое время — оттуда по утрам они, похмельные, в своих курсантских шинелях и сдвинутых на затылок шапках из искусственного меха ездили в Стрельну, в монастырь, где в то время располагалась школа милиции. Закончив это учебное заведение, Брагин отслужил несколько лет опером, в антитаркотическом, кажется, отделе, потом, примерно столько же лет — за наркотики же — и отсидел.

— Вот уж не чаял... — пробормотал я в некотором смущении.

— Удивлен? — он протянул мне руку.

— Да, неисповедимы пути Господни... — я ухватился за его сухую крепкую ладонь. — Я ее тебе, вроде как, поцеловать должен?

— Что правда, то правда — неисповедимы. А целовать не обязательно. Ты торопишься? Я живу рядом.

Минут через десять неторопливой ходьбы мы свернули под арку и вскоре

оказались в небольшой квартире с неожиданно низкими потолками. У порога был расстелен коврик ручной работы с любовно вышитым изображением беса, высывающего язык.

— Подарок. От прихожанок, — Брагин с ритуальной основательностью несколько раз вытер ноги о чертячью мордочку. — Проходи.

Я огляделся. Наверное, это было типичное жилище священника: все пространство его заполняли иконы, церковные книги, какие-то аляповатые поделки (видимо, подарки детей и подношения благодарной паствы). В воздухе стоял запах свечного воска.

— Тесновато живешь, отче.

— Ничего, мне нравится. Чай будешь?

Вместо ответа я вытащил коньячную фляжку.

— Да я не пью вообще-то... Но раз такой случай — давай. Только немножко.

Мы расположились за узким столиком на тесной кухоньке, где икон и церковных книг было больше, чем кухонной утвари. Брагин переоделся: теперь на нем были клетчатая рубашка и джинсы. Я задал неизбежный вопрос:

— Крутика давно видел?

— Давно. Лет семь назад. А то и больше...

— Ты вообще понимаешь, что с ним происходит? Заперся в четырех стенах и носу не кажет. Я пытался его из норы выманить — бесполезно. А помнишь, какой он был...

— Как не помнить.

— А давай ему сейчас позвоним. Пусть завидует. А то залез в свою раковину и сидит. Совсем старых друзей забыл. Ну что, звякнем на старости лет?

— Да не трогай ты его. Пускай сидит. Ему там хорошо.

— Думаешь? Ладно, Бог ему судья, как говорится.

Я приветственно поднял рюмку и разом опрокинул — как водку. Вот так же, без божества, без вдохновенья глотался нами коньяк в нашей прошлой неправдоподобной жизни в комнате гостеприимного тогда еще Крутика. Что и говорить, пить мы совсем не умели. А сейчас?

Брагин торжественно поднес янтарную рюмку к носу, потом осторожно пригубил, чинно утер потерявшиеся в усах и бороде губы и улыбнулся.

— Давно забытый вкус. Ну, как твои дела? Чем занимаешься? Поэтом, вроде, статья хотел?

— Хотел... А стал гражданином.

— Понимаю...

— Да что ты понимаешь... Ну как дела, как дела... В общем нормально. Состою на казенной службе.

— Кем?

— Акакием Акакиевичем.

— Ясно. Все мы вышли из гоголевской «Шинели».

— Ага... А где попадья-то твоя? В церкви, что ли?

— К матери уехала. Поссорились мы.

— Да ну! А я думал, у вашего брата, попа, и дома все чинно-благородно.

— Попы тоже люди.

Мы помолчали. Брагин достал из шкафчика детскую шоколадку, разломал ее в фольге, не разворачивая.

— Преломим, как говорится...

— Слушай, а что за детишки вокруг тебя копошились? У вас тут что, церковно-приходская школа? Или приют?

— Что-то вроде того.

— Совращаете невинные души?

Не иначе тот самый, ежедневно попираемый благочестивыми стопами бесенок, воспользовавшись моим греховным состоянием, скакнул с половичка прямо мне на язык. Что-то злило меня, не давало покоя. Я не верил, что Лёнька Брагин... Кстати, а как его величают теперь?

— Так и величают. Отец Леонид.

— Ну, колись, отец Леонид, почем опиум для народа? — я толкнул его рюмку своей. — Чего молчишь?

Кажется, мое запьянцовское ёрничанье начинало действовать ему на нервы. Хотя выдержке его можно было позавидовать. Четверть века назад на подобные «наезды» он отреагировал бы по-другому. Однажды я видел его в драке. Среднего роста, жилистый и невероятно подвижный, он уработал в кровь здоровенного лоях-охранника, который попёр на него в фойе ночного клуба, куда мы заглянули в поисках бесплатного туалета. Нет, драться со мной он бы не полез (в той компании я был вроде блаженного) — но уж и отмалчиваться не стал бы. Молотить языком он умел не хуже, чем махать кулаками.

— Идея принять сан посетила тебя в тюрьме? — продолжал я, разливая коньяк.

— Да нет, это потом уже...

— А разве после тюряги в священники принимают?

— Бывает. Не всех.

— Надо бы еще сбегать, — я щелкнул пальцем по опустевшей фляжке.

— Да хватит тебе... Я еще в храме заметил, что ты под мухой. О человече... Но если уж так надо...

Он вышел и вскоре вернулся с большой бутылью в одной руке и банкой соленых огурцов в другой.

— Самогон. На кедровых орешках.

— Ух ты! А говорил, не пьешь.

— А я и не пью. Он у меня уже год стоит. Монахи знакомые прислали.

— Тоже менты бывшие?

Брагин как будто не рассыпал — он сноровисто метал на стол, сооружая скромный, но приятный глазу натюрморт: к хрустящим, пахнущим смородиновым листом соленым огурцам добавилась тарелочка с желтым цветком из треугольных ломтиков сыра, консервированная селедка, нарезанный кольцами лук, несколько вареных картофелин в мундирах. Закуска была под стать напитку. Хозяин перестал сдерживаться и с видимым удовольствием выпил со мной несколько рюмок, отчего его щеки порозовели, на лбу выступила испарина.

— Вот это дело! Вижу, вижу прежнего Леонида Брагина! Ладно... Извини, если переборщил. Я сегодня что-то не в духах. Но ты мне вот что скажи... Можешь не отвечать, если не хочешь.

Я запнулся. Я соображал, насколько далеко захожу в своей арлекинаде. Но бесенок с коврика крепко вцепился коготками в кончик моего языка. Брагин тем временем смотрел на меня с еле заметной усмешкой — так, будто знал, о чем я собираюсь его спросить. Более того, он словно хотел, чтобы я его об этом спросил.

— Ты сам-то в Бога веришь? — наконец, тихо, почти шепотом произнес я.

Он хмыкнул, решительно взял за горло бутыль и налил себе полную рюмку.

— Да вообще-то нет. Сейчас не верю.

— Вот тебе и раз... А раньше?

— Да и раньше тоже.

— Вот тебе и два... Как же ты...

— Служу-то? С удовольствием.

Он подмигнул и выпил до дна.

— Понятно. Работа такая. Кстати, всегда было интересно узнать, какая у вас, у служителей культа, зарплата, — мне все еще хотелось вывести его из равновесия. Он как будто понимал это и не поддавался.

— Да не в этом дело, — сказал Брагин, помолчав. — Не в деньгах. У меня после отсидки бизнес вообще-то был — я его на первую жену переписал. Ставили счетчики тепла в квартирах... Так что деньги ни при чем. Да и вообще... Когда о деньгах не думаешь, они сами как-то появляются.

— Аллах дает, ага... Так это хобби у тебя, получается? — я ткнул пальцем в Богородицу на полочке.

— Не кощунствуй.

— Ладно, не буду. Так как же ты в попы подался — без веры-то?

И этого вопроса он ждал, а дождавшись — не смог скрыть своей почти ребяческой радости.

— Вот послушай. И постараися понять... Ты слушаешь, или пьяный совсем? Ну вот... Да не будь ты жлобом, сосредоточься! Подожди...

Брагин налил себе еще и, не дожидаясь меня, выпил.

— Когда веры нет, самое время в попы подаваться, — он наклонился над столом, приблизив ко мне свою густую, пахнувшую ладаном русую бороду. — Бога вроде как нет, но он должен быть — понимаешь? Иначе смысла нет. Надо Его выдумать, создать Его надо. И жить нужно так, как будто Он — есть. И смотрит сверху, и плачет о грехах наших... Надо, чтобы стыдно нам за свое скотство было, чтобы прощения и утешения хотелось. А то какая-то... безотцовщина получается. Только этим мир и спасется.

Если бы кто-то сказал мне, что я услышу нечто подобное из уст Лёньки Брагина...

— Одним словом, Бога нет, но вы держитесь...

— Дурак. Не понимаешь ты... Когда есть вера, Бог есть. Когда веры нет, Бога нет. То есть Его для человека нет, а так-то Он есть.

— Так есть или нет?

— Конечно, есть!

— Но ты в Него почему-то не веришь...

— Вера — дело трудное. Сегодня есть, завтра уже нет. Тут усилие нужно. Надо каждый день себя за волосы над болотом нашим поднимать. Как барон Мюнхгаузен.

— Дуришь паству, Мюнхгаузен!

Он уже не слушал меня. Его зрачки, помутневшие от самогона, в глубине зажглись древним огнем, погасить который мог только Тот, в Кого он так верил.

— И еще. Когда думаешь, что не веришь, — тогда-то ты ближе всего к вере. Я лучше всего Бога оттуда вижу, — он сделал римский жест, приканчивающий раненого гладиатора. — Из глубины своего неверия. С самого дна отчаяния. Мое неверие — моей веры сестра. Без него Бог меня не видит.

— Значит, меня видит отлично, — я поднял рюмку и глаза к потолку.

Хотелось курить — благоприобретенный в юные годы условный рефлекс, поженивший алкоголь с никотином, снова давал о себе знать. Но более всего я страдал от ощущения нереальности происходящего. Все это было по меньшей мере странно. Я чувствовал себя попавшим в роман Достоевского. Пора было завершать эту богословскую беседу и переходить к главному.

— Кстати, коль скоро нас, так сказать, снова свела судьба, задам тебе еще один вопрос.

По виду моего визави было ясно, что он приготовился к новому теософскому витку. Однако мой вопрос поверг его в недоумение.

— Ты помнишь Бедного Йорика?

Он усмехнулся, потер лоб, по-видимому, напрягая память.

— Бедного Йорика? Конечно, помню... Эээ... Чума его разнеси, шалопая сумасбродного! Он мне однажды бутылку рейнского на голову вылил.

— Тыфу ты... Кончай, Лёнька. Тоже мне, первый могильщик... Я про череп...

Брагин вскочил со стула и с жаром продекламировал:

— Увы, бедный Йорик! Я знал его, Горацио; человек бесконечно остроумный, чудеснейший выдумщик; он тысячу раз носил меня на спине; а теперь — как отвратительно мне это себе представить!

Брагин обладал явными актерскими способностями. Возможно, посещал тюремный драмкружок. У меня даже мелькнула мысль — а не розыгрыш ли все это, не жертвой ли основательно подготовленной мистификации я стал. Действительно, какой, к дьяволу, из него священник! Но, оглядев убранство кухни, больше похожей на домовой храм, я решил, что если это и спектакль, то поставлен он поистине гениальным режиссером.

— Заглохни, Смоктуновский! Череп ты помнишь?

— Да Бог с тобой, какой череп?

— Ну череп... У Крутика в комнате на шкафу стоял. Я подарил. Спер по дурости из кабинета биологии и подарил. Ну как же... Ну на шкафу... Там еще голова питекантропа размалеванная была. Ну?

— Да много чего у него стояло... Питекантропа? Хм... Память у меня вообще-то хорошая. Ты знаешь, я даже псалмы почти никогда не заучивал — сами как-то укладывались. Евангелие от Иоанна слово в слово знаю. А это не помню.

— Ты еще скажи, что Ромуальда не помнишь. Ну, напряги ты память... Эмбрион плавал в банке со спиртом. Крутик его спер где-то. Ты все еще на спирт покушался — ну?

Почти ничего из той, прошлой жизни, он не помнил. Или притворялся, что не помнит. Или не притворялся, потому что вспоминать было нечего. Ведь, может статься, это моя взбалмошная, попавшая под дурное влияние воображения память нагородила весь этот огород... И ничего не было — ни всей этой возни с украденным черепом, ни других глупостей, из которых, казалось, сплошь состояла наша бездарная юность. А что же тогда было? Из-за чего так ноет время от времени моя страдающая бессонницей совесть?

Об этом думал я в тесной прихожей, ища разбежавшиеся ботинки, вылавливая шапку из рукава, — мне давно пора было возвращаться домой — к жене и детям, к своей непридуманной жизни, не желающей иметь ничего общего с той, другой жизнью, как будто вовсе и не мною прожитой...

— А был ли Йорик? — подмигнул я на прощание. — А может, Йорика-то и не было?

Мы обнялись. Я обещал заходить, хотя и не очень-то искренне.

— А с попадьей ты все-таки помирись, — кричал я уже на лестнице.

— Обязательно, — улыбался пьяненький Брагин.

Пока я спускался по ступеням, его зыбкое отражение в вечернем окне торопливо осыпало меня заботливыми щепотями.